



Борис
Голлер

МАСТЕРСКАЯ
Шекспира

Издательство
«Геликон Плюс»

Борис Александрович Голлер

Мастерская Шекспира

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51188212

Мастерская Шекспира: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2019

ISBN 978-5-6040737-4-2

Аннотация

Шекспир, несмотря на долгую и роскошную славу (400 лет!), до сих пор мало понят как писатель. А как человек и вовсе неизвестен. Несмотря на изобилие биографий. В итоге, в массовом сознании произошло отделение *Шекспира-художника* от *Шекспира-человека*. И где они по отношению друг к другу? Автор попытался уяснить эту связь. На основе фактов, почерпнутых в хрониках и биографиях Шекспира, сознавая, что часть фактов может быть вымышлена. На фундаменте русских переводов, ибо речь идет не просто о Шекспире, но о *русском Шекспире*, о нашем понимании его.

Содержание

Вступление	4
Часть первая. Ученик	9
Часть вторая. Меркуцио	74
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Борис Голлер

Мастерская Шекспира

Вступление

– Зима тревоги нашей позади.

К нам с солнцем Йорка лето возвратилось!

– Ну не с Йорком, конечно! – Со Стюартом! – Но возвратилось!

Шел год 1662-й... И не было ничего удивительного в том, что пожилой джентльмен откровенно радуется концу злощастной эпохи, когда Время словно вышло из пазов, и тому обстоятельству, что законный король Карл II, сын несчастного отца, смог вернуться в страну после стольких лет изгнания. А воинственный народ Англии принял его восторженно, ибо подустал от бунта, и мгновенно позабыл, как долго дышал воздухом смуты.

– Бедный лорд-протектор! Как мне теперь кланяться вам, когда вы всего лишь полусгнивший скелет, болтающийся в петле? – добавил человек про себя. В этой речи таились и насмешка, и сомнение. – Был весьма щекотливый момент в истории реставрации: по приказу молодого короля бывше-

го диктатора Кромвеля со товарищи выбросили из могил и останки вздернули на виселицу, на обозрение публики. Это было жестоко и не по-христиански, считали многие, в том числе заядлые роялисты.

Лондон, осень, сентябрь – где-то двадцатые числа сентября... Был четвертый час дня...

Недавно прошел дождь, и казалось, все средние века стекают вдоль улиц потоками нечистот, с двух сторон, параллельно, и даже по Бишопсгейт – вполне почтенной магистрали. Груды мусора у домов то и дело преграждали дорогу. Улицы Лондона плохо убирались.

Джентльмен был в возрасте, но держался прямо. Одет в короткий плащ, как носили тогда, из-под плаща выглядывал небогатый камзол (возможно, не совсем свежий белый воротник), на ногах светлые чулки с башмаками, но на шнурах – что-то вроде розы или другого цветка, являвшегося знаком некоего житейского благополучия. А нижняя часть лица пряталась в шарф или однотонный платок, обернутый вокруг шеи. (Может, простужен?)

Его звали Уильям Давенант, и путь его лежал от Шордича, на севере города, к Саутуорку – на южный берег Темзы. А приведенные мысли посетили его как раз перед вступлением на Лондонский мост. Он представил себе, как Шекспир, идя на работу в театр, переходит через этот мост, где на перилах с двух сторон на высоких шестах стынут головы казненных – среди них, кстати, несколько его знакомых и даже прямые

родственники по матери. (Два имени – Соммервила и Арде-нов – путнику нашему были известны.)

Сам Давенант в те дни не просто скитался по Лондону, но с определенной целью: он искал здания, где прежде, до всевластия пуритан, помещались театры – в Лондоне их прежде было много, о них говорили по всей Европе, – и там могло еще (он надеялся) что-то уцелеть из театрального реквизита.

При Кромвеле театры позакрывали, а некоторые просто сожгли. Пуритане считали сцену развлечением сильно греховным. Правда, они ссылались при этом еще на травлю животных, которая шла в театральных зданиях помимо спектаклей. В своих блужданиях по Лондону Давенант набрел на ужасающую картину: раскапывали для нового строительства место, где был сожжен некий театр – то ли «Лебедь», то ли «Фортуна», оба принадлежали в свое время знаменитому антрепренеру Филиппу Хенслоу, который вывел в люди Марло и, кажется, самого Шекспира. В большой яме на месте бывшего здания нашли огромную свалку костей животных – медведей больше всего: их травля была любимым зрелищем лондонцев.

Несчастное животное привязывали цепями к столбу на сцене и спускали голодных собак. Потом от роскошных театральных костюмов актеров воняло кровью... «И от Шекспира тоже? – спрашивал себя. Давенант. – Наверное!»

Дни представлений в театрах были тогда четко разделены: день – пьеса, а день – травля медведей...

– Англичане – жестокий народ! Впрочем, может, есть и другие такие?

Он был из тех людей, кто ничего не может восхвалить иди осудить вполне определенно. И всегда старался смотреть на предмет с разных сторон.

Он миновал незаметно сады прихода Спасителя, церковь пресвятой девы Марии-Оверн, всегда поражавшую его своей тихой красотой, развалины театра «Роза», тоже принадлежавшего некогда Хенслоу (что-что, а историю лондонских театров Давенант знал назубок!), и «Медвежьего загона» (который помещался рядом с театром «Роза»). И очутился на пустыре, окруженном старыми деревьями, которые явно задел когда-то пожар: часть ветвей выгорела вовсе и сделалась мертвой, а другая еще пыталась жить. Пустырь не просох после дождя и был весь покрыт давним темно-серым пеплом с серебристыми пузырьками воды; и там и сям валялись вычерневшие насквозь и полусгнившие головешки – тоже совсем мокрые. Он стоял на могиле шекспировского театра «Глобус» – который, впрочем, Шекспир и его товарищи называли иначе: «Весь мир».

...Ему показалось, он видит, как некий человек вступает на мост и идет вдоль перил, удаляясь от нас. Несколько времени маячит пред нами. Он молод – года двадцать два, не более. Плащ провинциала, чулки, заляпанные грязью... Идет, насвистывая... Потом вздергивает голову и кричит куда-то в небо:

– Эй, Соммервил, как ты там? Ты уже встретился с Богом? И как он принимает наших стратфордских? *(Пауза.)*

– Эй, Соммервил!

Дальнейшее – молчанье!..

«Впрочем, – подумал он про Шекспира, – он мог перебраться на лодке. Лодочники всегда, должно быть, толпились у берега. И теперь толпятся».

Он привычным жестом поправил повязку, закрывавшую нижнюю часть лица, и по нечаянности чуть не сдернул ее.

– Жаль только, театр Шекспира придется восстанавливать человеку с проваленным носом! Бедная моя мать! Что бы она сказала!

Из того, что он хранил про себя, к чему не раз возвращался мысленно, что берег в воспоминании, как берегут свою душу, красота его умершей матери занимала особое место. Может, это было связано с его собственным несчастным положением.

Записок сэра Давенанта (он в конце концов стал сэром) и всей истории восстановления театра Шекспира, конечно, не сохранилось. Придется угадывать все самим, и не важно, кто – угадчик.

Часть первая. Ученик

Люди в конце XVI века жили недолго и умирали рано: лет сорок – почти старость, а то и тридцать пять... У них были основания торопиться.

Филипп Хенслоу тоже торопился. Ему было тридцать два, и он считал себя почти стариком. Он сделал все, что мог в свои годы: был лучшим антрепренером в Лондоне, а то и во всей Англии. Женился на богатой вдове много старше себя – обрел крупный капитал, а после заработал и сам немало; хотите завидовать – завидуйте! Зато теперь держал одновременно три или четыре театра. И всюду были актеры. И на всех надо было напасть пьес. Он сам не понял, как сделался докой по этой части и стал разбираться в этой непростой материи! Драматурги крали сюжеты из-под носа друга у друга и без конца переиначивали труды конкурентов и переписывали всякое старье. В XV веке английских пьес почти еще не было, к середине XVII их были уже тысячи.

Потому Хенслоу знал, что делал, когда упрашивал заносчивого, с черными колючими глазами молодого человека (глаза отблескивали странно: наглостью или опиумом, к ко-ему тот был привержен?) переделать для театра некий лежа-лый товар, из которого, по мнению антрепренера, можно бы-ло *выжать сок*: добиться успеха на сцене. (Он так и говорил, клянусь: «выжать сок»!)

– Ты забыл, что я открыл тебя? – попрекал его Хенслоу.

– Ты ж знаешь, я безнравствен. Я все быстро забываю!

– Оно и видно!..

(Вот это и есть, между прочим, театр! Кто не знаком с предметом – влезать слишком не советую!)

Они долго переругивались – впрочем, вполне доброжелательно.

– Ты можешь использовать того новенького из провинции, о котором я тебе говорил. Считаю, рекомендую. Я читал его опусы, недурно, поверь, недурно!

– Но я ж хотел, чтоб это сделал ты!

– Не могу. Вот честно!.

– Опять влюбился? И опять какой-нибудь смазливый мальчишка с толстым задом?

– Кто не любит мальчишек и табаку – те болваны!

– Это я уже слышал от тебя. Звучит слишком громко! Ты можешь угодить в тюрьму в Ньюгейт! У нас не любят содомитов!

– Я – философ! А за что угодил в тюрьму Сократ?

– Да, но ты – не Сократ!

– Но я – Кристофер Марло!

– Это пока имя для немногих. Может, только для меня.

– Я сказал тебе – попробуй его.

– Он разве перестал уже держать лошадей у театра?..

– Он и суфлером был. Его теперь взяли в актеры. К графу Сассексу или к Стрейнджу – уж не помню к кому. Он вообще

тертый парень, и с самолюбием. Попробуй! Чем рискуешь? Авось пригодится.

– Хоть как его зовут?

– Его зовут Уилл!

– Так ты не хочешь помочь мне?

– Не могу. Пишу новую трагедию. Про Тамерлана великого.

– Ишь куда хватил! – подумал. – Не знаю. Кто сегодня пойдет в театр на Тамерлана? Да и публика вряд ли слышала, кто это?

– А ты сам-то знаешь – кто?

– Тот, кто таскал в клетке султана Баязета?

– Смотри, какие антрепренеры пошли! Им даже Тамерлан известен. Я полагал, они только считают деньги...

– Но это я тоже могу!

– Конечно. Кто так зарабатывает на нас, бедных? Хочешь пари? Я тебе обещаю успех «Тамерлана»!

– Покуда обещаешь, что помотришь работу своего протеже, если я его возьму. Бросишь взгляд... Я не верю новичкам. Еще провинциалам.

– Да уж ладно, ладно!

– Я просил Грина, но он отказывается. Загордился во все... А ведь я и его вытащил из грязи. И совсем недавно было!

Через несколько дней в Шордиче, у лодочной переправы,

он повстречал того, о ком шла речь. «Новенького»... (Город был еще сравнительно мал, хоть и быстро разрастался, и все могли встретиться со всеми.)

Совсем молодой человек провинциального вида и покуда скромн. Все они пока скромны, если только из провинции!

– Ты, говорят, уже актер? – спросил Хенслоу.

– А как же! У «Слуг лорда Стрейнджа», – ответил тот с гордостью.

– Не у Сассекса разве? Я – Хенслоу. Хозяин театра «Роза».

– Я вас знаю.

– Правда? Что, надоело держать лошадей у театра?

– То было только начало. За Лондон надо платить!

– Ого! – изумился Хенслоу. – Ты, конечно, издалека?

– Из Стратфорда.

– За Оксфордом? Был однажды. Грязное местечко. Один рынок снесен!

– Не знаю. По мне, так красиво! Арденский лес, Эйвон...

– Мне показалось – скучно. Говорят, у тебя там семья?

– Дети. Трое.

– А почему ты не берешь их в Лондон?

Не стоило спрашивать так. Парень явно надулся.

– Моя семья не будет жить так, как здесь живу я! – отрезал он.

– А чем ты плохо живешь?

– Крыс много...

– Где их нету? А в Стратфорде вы живете без крыс?

– Но там дом!

И Хенслоу пришлось сбавить обороты. Он не мог понять: нравится парень ему или нет.

– Слышал, ты пьесу для меня можешь поправить!

– А чья пьеса?

– Ого! А тебе не все равно? Я автора сам не помню. У меня почти все пьесы – переделки. У них много авторов. Ты учился в университете?

– Нет. Только в грамматической школе.

– А-а, как Кид? Но знаешь латынь?

– Немного. И греческий. А платить будете?

– Как новичку. Но поскольку тебя рекомендует Марло...

Он теперь пишет сам и не хочет отвлекаться. Чем ты так понравился Марло? Ты его любовник?

– Нет. Я вообще предпочитаю жен...

– Ну это правильно. Прости! А я думал... Если получится, я чуть надбавлю. Возьмешься?

– Да. Я смогу.

– На Марло не рассчитывай. Он не поможет. Если ты ему не любовник.

– Я знаю. Я справлюсь. Если что-то не умею – я научусь!

– Ты честолюбив. Как все провинциалы...

– А разве в наш век можно без честолюбия?

Новенький появился в Лондоне в 86-м или в 87-м XVI века и всем казался сперва человеком заурядным. Из тех, кто

пороха не выдумает, а может, считает, что и не стоит выдумывать.

Он снимал небольшую комнатку в Шордиче, у старой вдовы. У него мало кто бывал. Он походил на человека, который ждет чуда судьбы, но откуда не свалилось это чудо – тих и покорен.

Сперва говорили про него: «Это тот, кто держит лошадей у театра?» Он начинал, как «служитель при лошадях». Многие зрители приезжали верхом – дорога к театру была грязной. Театры обычно располагались за чертой города. Он знал толк в лошадях.

Потом услышали, он принят уже в театр суфлером или помощником. Кто-то из коллег отличил его голос – голос приятный. Даже не мешало типичное уорикширское произношение. Он стал наемным актером. На маленькие роли, проходные. Но не просто статистом.

Все знали, что он оставил семью где-то в провинции – иные злословили: бросил! – но он беспокоился об этой семье и по возможности слал ей деньги. Деньги его интересовали, кажется, больше всего. Это делало его зажатым и несколько осторожным. Он не брал участия в попойках и пышных встречах, избегал дружеских сближений, в которых обязательно надо рассказывать что-то и о себе – не только слушать других. Вообще в кругу, в котором все хотели заработать, но предпочитали хвалиться своим безразличием к благам земным и тратами вперемежку с нищетой, он выглядел белой

вороной. Он поднимался в жизни, как по крутой лестнице. Медленно...

Марло подтрунивал над ним. Грин и Нэш откровенно издевались. Он был недостаточно образован, а они как-никак – «университетские умы»... (Кроме него таким же неучем слыл Томас Кид – одна лишь «грамматическая школа» да и то провинциальная, но Кид, считайте, уже знаменит – на сцене его «Испанская трагедия».)

В кругу, где безденежье, несчастье и крутой нрав считались как бы метой художества природы, новичок меньше других походил на художника.

А кому пришло в голову впервые дать ему переделать старую пьесу для постановки и что за пьеса – по сей день не знает никто и вряд ли узнает.

Но предложение Хенслоу, да еще с подачи Марло, явно было не первым.

Во всяком случае... сэр Уильям Давенант (будущий сэр), сам драматург – а он почитал себя им, – вполне мог сочинить этот диалог с Хенслоу... Да диалог, вероятно, таким и был!

Марло вошел в комнату и сразу, без приглашения, рухнул на стул за чужим столом, как за своим. Стол выделялся в полупустом помещении. Не было больше ничего, кроме кровати и комодика.

– Вина не дашь? – спросил Марло как-то само собой, как естественное.

– Ну конечно, – сказал хозяин комнаты Уилл. Принес тотчас бутылку и два стакана.

– Ты сам-то пьешь? – осведомился Марло.

– Но немного...

– А-а...

Ну и порядок у тебя, – сказал гость чуть не с отвращением. – Кто-то прибирает, что ли?

– Да нет, я сам.

– Я бы так не мог. Ты бы видел, что творится у меня!

– Я видел. Я же был...

– Ах да. Я запомнил. Но художник не должен жить в таком порядке! Знаешь Пиля? Здесь пишет, здесь и жрет, и срет. А жена и дочь жарят ему жаворонков на ужин. Все рукописи в масле подсолнечном... И полный ночной горшок у стола.

– Да я не умею в беспорядке! Мне не работается!

Марло глотнул вина, много глотнул, С удовольствием. Даже показалось – он им полощет горло, прежде чем заглатывает.

– А ты не будешь пить? – осведомился. Пожал плечами. – Ты странный! Это та самая пьеса? «Генрих VI»?

– Да, – сказал Уилл.

Марло принялся читать рукопись из разрозненных листов. Бумага была в те поры дорогая, ее берегли, потому рукопись была заполнена правкой до отказа.

Марло читал внимательно, ничего не скажешь. А Уилл за-

жег и поставил пред ним еще одну свечку.

– О-о! – сказал Марло. – Ты даже не жалеешь денег на свечи?

– Как их жалеть? Я при них работаю.

– Странный ты. У вас в провинции все такие?

Уилл пожал плечами.

– Есть всякие! – он знал, что пойдут вопросы.

– У тебя там семья?

(Разумеется. Этого разговора новенький не любил, как мы уже поняли.)

– Да. Дети. Трое, – сказал с неохотой.

– А почему ты их не возьмешь сюда?

– Им тут будет неудобно. И как я буду тогда зарабатывать для них деньги?

– Ходишь по мальчикам?

– Нет.

– По девочкам? Учти, розы в этом районе – сплошь заразные! – «Розами» именовали проституток. И театр «Роза», что скрывать, был назван в их честь – для привлечения публики. И почти не было антрепренера театра, который не владел бы еще борделем. – Винчестерских особенно бойся!

(«Винчестерскими» звались жившие в доме епископа Винчестерского.)

– Да и женщины вообще, от них дурно пахнет, – сказал Марло. Он, верно, ожидал продолжения разговора, но Уилл промолчал тактично. И он вновь уткнулся в рукопись. Чи-

тал с интересом. А Уилл с известным авторским волнением смотрел на него.

– Про королеву Маргариту и Сеффолка сам придумал?

– Ну да...

– Это хорошо. Впрочем... Но это ж второй сюжет, как никак... параллельный!

– А пусть! – сказал Уилл.

Марло снова отвлекся.

– Ты что, у винчестерских никогда не был?

– Почему? Только редко. Раза два или три...

– Смотри, не заразись! Вот почему мальчишки лучше! А Маргарита тоже любит его?

– Сеффолка? Конечно! – откликнулся почти радостно. – Он и вытащил ее из Франции королю Генриху в жены. Надеялся на ее милости.

– И как? Добился? Милостей?

– А как же!

– Мне нравится, пожалуй, – Марло стал читать вслух:

Маргарита

Под знойным солнцем тает снег холодный.

К делам правленья холоден король.

Его морочит Глостер, как стенаньем

Прохожих завлекает крокодил

Иль как змея с блестящей пестрой кожей,
Свернувшаяся под цветами жалит
Ребенка, что смятен ее красотой...

– Ишь! – сказал он. – Неплохо... Только... жирно пишешь!

– Что значит – жирно?

– Метафор много.

– Может быть! – согласился собеседник.

Гость снова оглядел стол. С непониманием или завистью. Стол был лыс, как череп. «Аккуратист!» – выругался про себя. Ничего, кроме рукописи и принесенной гостю бутылки с двумя стаканами. Да еще на самом углу – две книжки в стопку. Холиншед, конечно – куда денешься от Холиншеда? И кипа исписанных листков, скрепленных каким-то металлическим зажимом. Марло взглянул: это был, конечно, Холл: книга про «союз благородных и величественных семейств – Ланкастеров и Йорков» (это тех, что развязали войну Алой и Белой розы). Хозяин сам переписывал, должно быть!

Марло покачал головой:

– Художники так не живут!.. Но у тебя что-то получается. Скажу Хенслоу, – почти без перехода: – Ты у меня украл несколько фраз. Но мне все равно. На театре все крадут...

– Я их просто помнил!

– И слава богу! Но мне все равно. Все крадут!

Никто не верил в затею Давенанта. Если по правде – он сам не верил. То и дело слышал вопросы: «А вы полагаете, кто-нибудь еще способен идти сегодня в театр?» (Подразумевалось: «после всего, что произошло?»)

Англия как бы начиналась с чистого листа. И это была уже не та Англия. По слухам даже сам молодой король жаловался, что вернулся в другую страну. И что, если б знал заранее, может, и не вернулся б. Страна была как после дубления кожи – другой цвет, другой материал, даже запах другой... Она вообще изменилась лицом. Иная страна.

Трудное это дело – смена формации. А реставрация еще трудней. Все равно ничего нельзя вернуть в прежнем виде. Что-то сломалось. Люди стали какие-то сухие и вчуже друг другу. И чересчур практичные. Кроме того, они набрались страха. А страх – лекарство от иллюзий, и поэтических в том числе. Революция испортила Англию. Или перекрасила – в другой цвет.

Тем не менее городской совет Лондона дал разрешение на открытие театров. Но деньги?.. Давенант уже собрался для начала продать единственное свое наследство: долю в таверне «Корона» в Оксфорде. Он мог это позволить себе, ибо благодаря несчастью с ним был холост и одинок. Три другие доли принадлежали братьям и сестре – уже умершим, и за эти доли цеплялись их дети. Хотя он сам испытывал оторопь при мысли, что, если затея провалится, он останется без средств. Да и мучил стыд перед памятью родителей. Как-

никак – торг семейным достоянием! Его стесняла память – особенно матери. Отца он просто жалел. С матерью было хуже...

Деньги явились, как всегда, неожиданно. Многим захотелось вдруг, чтоб затеи революции рухнули. Ишь! На театры посягнули! Когда-то Англия на всю Европу гремела театрами. Даже у французов такого не было. Уж на что петушиная нация! В общем... Потомки графа Пембрука вспомнили, как их отец относился к Шекспиру. И как помог Хемингсу и Конделу издать знаменитое Фолио 1623-го. (Через семь лет после смерти автора.) Кажется, их отцу – еще мальчику 16 лет – были посвящены первые сонеты Шекспира. А может, не ему, даже скорей – не ему! Неважно!

Но была еще главная трудность: актеры. После закрытия театров в 42–43-м году они расползлись по стране. При Кромвеле запреты соблюдались строго. Особенно после поражения монархии и казни короля Карла I. Актеры или поумирали, или обратились к другим ремеслам. Они больше не учили в труппах младших учеников, и им не платили родители за обучение мастерству своих чад. Театр в конце прошлого века и в начале нынешнего казался выигрышным делом. А теперь... Не было школы театра и, стало быть, самого театра, и создавать его было, в сущности, не из чего.

С такими мыслями Давенант вышел впервые на репетицию к труппе, взятой вроде, из воздуха. Из случайных людей. Он чему-то должен был их учить, чему – не знал сам.

Женщин, как прежде, должны были играть юноши или подростки. Как при Шекспире.

Надо признать, даже имени такого – *Шекспир* – актеры Давенанта до сих пор не слышали. Разве только из его собственных уст...

Он взял в работу для начала первую хронику автора – «Генрих VI». Репетировали в одном из помещений гостиницы «Слон». Театр как таковой был еще далек – скрывался за горизонтом. Актеры его ничего не умели, да и он сам ничего не умел...

Потрудившись две-три недели, он дал себе отпуск для раздумий – сел в дорожную карету и поехал к Оксфорду. В родные края. Он еще хотел навестить впервые Стратфорд и могилу Шекспира. Может, это придаст ему силы или решимость продолжать. Или наведет на какие-то мысли, которых он ждал от себя... А вдруг заставит отказаться от затеи?

Он не знал еще.

В карете попутчик быстро понял, что под шейным платком соседа скрывается, верно, проваленный нос. И, подумав, отсел от Давенанта. Тот не обиделся, он привык к такой реакции – понял все, чего обижаться? Та связь, что искалечила ему жизнь – коротенькая и пустая, – не принесла ему никакого удовольствия. А девица, возможно, даже повинна не была: ее кто-то перед тем заразил, она и не знала... Болезнь была плод случайного приключения... читай – Судьба!

Дороги были плохи, и его укачивало. Он попытался

уснуть и в Оксфорд приехал совсем больной...

Незаметно для себя они стали вместе работать над хроникой «Генрих VI». (Над Первой частью, конечно, которая после станет Второй. Вступительную, Первую, Шекспир напишет сам, позднее.) Но Марло как-то втянулся в работу над «Генрихом». Увлёкся.

Он был ужасным соавтором – его приходилось терпеть, но Шекспир нуждался в нём. Если не в нём – так в *школе*, и он терпел... Школа была тяжёлая.

Теперь Кристофер – так звали Марло – не входил: он вваливался в его комнату. Производил в ней смуту и беспорядок. Притом являлся позднее позднего. Шекспиру это было неудобно: он актер, и ему приходится рано вставать для других дел. А Марло – бродяга и свободный художник. И он не садился за стол, а перся с ногами на кровать хозяина (кровать была узкой), и Уилл с готовностью придвигал к ней табурет и ставил подсвечник со свечой.

– Ну давай! – говорил Марло и величественно протягивал руку за листками.

И было не понять: читает он с удовольствием или с порицанием.

– Э, нет! Тут чего-то не хватает! – и начинал сочинять сам...

– Нужно, чтоб жена Хемфри сильно поссорилась с королевой!

– По какому поводу?

– По любому. Они ж ненавидят друг друга? Пусть королева уронит веер, а жена протектора откажется его поднять!

– И что дальше?

– Ничего! Маргарита дает ей пощечину, и Глостерше придется... – изобразил, лежа на кровати, притом очень театрально:

Марло

Дай веер мой! Что, милочка, не хочешь?..

Жест, будто дает пощечину. Трах!..

Прошу прощенья! Ах, это были вы?..

Шекспир

(продолжил, подумав).

Да, чужестранка злая, это я!..

Когда б могла я до тебя добраться,

Все десять заповедей... написала б

Ногтями на лице твоём прекрасном!..

Марло *(довольный)*. Годится!

Шекспир. Не слишком грубо? Это ж как-никак при короле?..

Марло. А мы живем в грубом мире! И учись быть гру-

бым!.. А при дворе – и того хуже. Поверь мне!..

Шекспир. А ты откуда знаешь?

Марло. А я всё знаю. (*Хвастливо, но после пояснил.*) Король здесь пытается все смягчить, как ему свойственно. Покрывает и ту и другую сторону...

Марло

(*за короля*)

Она нечаянно. Поверь мне, тетя!..

(*Это – жене Хемфри.*)

Шекспир

(*неуверенно*):

Нечаянно, племянник?

Смотри, она

Тебя запеленает, станет нянчить!

Марло

Но все ж... хотя и юбка правит здесь,

Сумеет отомстить Элеонора!

– Ну вот! Она и уходит. Глядишь, сварили сценку! Пошли дальше!

Шекспир

(за королеву)

И здравый смысл подсказывает мне:
Покинуть должен он скорее землю,
Чтоб страх пред ним скорей покинул нас.

Марло. Можно и так! Вот женщины! Никогда им не верил! Злей их нет на свете! Густо пишешь. Кто это будет слушать? А кто понимать? Ты представляешь себе своего зрителя? Ладно. Мне нравится! Если б ты знал, какую я задумал пьесу, Уилл!..

– Про парижскую резню?

– Про Фауста. Доктор Фауст! Старинная легенда. Слышал такую?

– Нет.

– А «Резню» пока оставил! Пусть полежит. А про Фауста молчу. Это еще рано! У нас стоит разболтать – подхватят. Новое время – значит, время воров! Да ты и не поймешь... Зачем тебе?

Он рассеянно и не без раздражения оглядел лысый стол хозяина и заметил нечто новое. Там прибавился Плутарх в переводе Мора и еще, отдельно, несколько листков, чем-то аккуратно скрепленных. Сверху значилось: Les Essais по-французски, но дальше шел английский текст...

– Монтень? Ты откуда это взял?

– У Флорио. Он теперь переводит. Только начал...

– Ты знаешь и его? Ты успел со многими познакомиться здесь! – то ли с одобрением, то ли ревниво. – А тебе нравится Монтень?

– Пожалуй! Пожалуй, да, нравится!

– А мне – так нет. Я читал по-французски! – добавил небрежно.

Странно, но он сам как-то привязался к Шекспиру – или начинал привязываться. Внешне казалось, он никого не любил. И в лондонских труппах (а их было много) его не жаловали – даже в тех, где ставились его пьесы. О нем шла дурная слава, начала которой неизвестны, а хвосты терялись. Да и он демонстрировал всегда почти откровенное презрение к актерам и театру.

Давенант вошел в дом, в котором вырос и не бывал лет двадцать. Здесь когда-то помещалась известная не только в Оксфорде, но на всем пути от Лондона в Уорикширское графство, хотя и небольшая, таверна «Корона». В доме никто не жил давно... Братья, сестра и он сам со смертью родителей долго не хотели расставаться с домом. Но когда он, Уильям, в своем поколении семьи остался один, племянники, как все молодые, у которых пристрастия к этой памяти вовсе нет или почти нет, стали поторапливать с продажей. И он сдерживал их рвение, как мог, ибо с приходом новой власти – так уж вышло – дела его неожиданно пошли в гору, и он надеялся вот-вот выкупить их доли и в итоге оставить

дом за собой. У него-то не сложилась судьба, и он тянулся к прошлому – не хотел распродавать его. За домом ухаживала соседка (Давенант ей платил), и к его приезду все было прибрано. Так что он мог лечь в чистую, когда-то его собственную постель. Все равно что утонуть в мечтах своей юности. Для человека с проваленным носом это чего-то стоит. Ну да, не удалось, но ведь мечтал когда-то!.. И как хорошо это было, когда еще никто не мог ничего предвидеть!

В общем... он поднялся поздно, отдохнувший и свежий. Умылся, надел сравнительно новый халат, который, разумеется, взял с собой, и спустился в семейную столовую (была еще зала таверны, где когда-то толпились посетители, но туда он пока заглядывать не стал). Сюда прислуживавшая ему женщина принесла завтрак: омлет с беконом и эля немного. Эль был недурен, но как-то сладковат.

Он сидел один за столом, где некогда сбиралась его семья, и чувствовал себя будто среди мертвых. Только это было вовсе не какое-то огорчительное ощущение или болезненное... Просто они все сидели сейчас вместе с ним за столом, и он озирает пустые стулья, встречался глазами с одним, с другим и слышал голоса, он даже обонял ушедших своим проваленным носом. Место отца, место матери, брата Ричарда (старшего), сестры, другого брата. И два стула для гостей, куда обычно усаживали не посетителей таверны, а близких и друзей семьи. Мать с отцом сидели всегда напротив друг друга, по разные стороны стола: мать имела привычку вставать

во время трапезы и отпрапляться на кухню с распоряжениями...

Отец был старше матери – немного, всего на несколько лет, но это было почему-то заметно. Ее часто принимали за его дочь. Тогда он улыбался, что бывало редко. Отец по природе был раздумчив и мрачен, а мать – красива и необыкновенно легка: возраст очень долго не сказывался на ней, хотя семья до переезда в Оксфорд схоронила уже четверых детей. Но дети в то время чаще являлись на свет только затем, чтоб успеть едва оглядеться в нем... А те дети, кто сейчас (то есть тогда) сидел за столом, родились уже здесь, в Оксфорде. В таверне «Корона», которая сперва звалась просто «Таверной».

Уилл Давенант тогда был младшим и особенно любимым матерью и был привязан к ней необыкновенно. И иногда ревниво следил за ней – за её общением с другими детьми, с братьями, сестрой. Отличал, как взирают на нее мужчины в таверне – даже друзья семьи, не только гости. Наблюдал за тем, как глядит на нее отец. И раза два или три он, еще совсем маленьким, увидел при этом в глазах отца слезы.

Давенант помолился прилежно и принялся за еду.

– Мама, прости меня! – сказал он про себя в очередной раз без всякой связи и смысла. – Прости!

Когда он это сказал, в глазах отца вновь блеснули слезы, будто отец тоже с ним сей момент глядел на мать. Давенант эти слезы ни раньше, ни позже не мог ни отереть, ни объяс-

нить.

Однажды на его глазах в совсем не обеденное время она вышла из задней комнаты на втором этаже, где порой останавливались гости, и у нее было странное лицо. Полное гордости – будто отметавшей все вокруг и совсем не связанной ни с ним, маленьким Уиллом (ему было всего шесть), ни с кем другим из ближних. Такое чуждое всем счастье и не зависевшее ни от кого. Она прошла мимо сына, слегка задев его щеку шуршащими юбками, пахнувшими духами, и он опять охмелелся этими запахами, как охмелялся всегда... А она даже не заметила его, чего не бывало прежде.

Он взглянул на еще один гостевой стул за семейным столом. И стул на сей раз был занят. Его крестным отцом, иногда навещавшим их. Тот жил в Лондоне. Лица его Давенант почти не помнил – только то, что он был весьма нежен с ними, с детьми, особенно со старшим – Ричардом.

– Он меня обцеловывает! – хвастался Ричард, ибо вообще любил похвально.

– Почему именно его, – спрашивал себя маленький Уилл, – когда он – *мой* крестный, не его?

На такие вопросы в детстве уж точно не знают ответа! Однажды, когда он был чуть старше и шел из школы (он, как все дети более или менее состоятельных родителей, сперва посещал грамматическую, а потом уж университет, если кому удавалось), навстречу попался сосед, живший на той же улице через несколько домов и частенько как посетитель за-

глядывавший к ним в «Таверну».

– Куда ты так спешишь? – спросил сосед, считавший долгом, как все соседи, знать все, что вокруг, и более того.

– Домой! – ответил мальчик весело. – Хочу повидать моего крестного отца. Он должен сегодня приехать!

Сосед – нет, не покачал головой, хотя и проямлил невнятное. Но после (говорят) все же сказал наставительно:

– Ах, Уилл, Уилл! Ты – хороший мальчик! Зачем употреблять имя Господа всуе?

Почему слово «крестный» звучало «всуе»? Он не понял. Тупо помолчал, глядя вслед соседу – тот уже уходил, а потом вприпрыжку помчался домой. Только лужи чавкали под ногами, и чулки были совсем заляпаны. Там он встретился с крестным.

Крестного звали Уильям Шекспир...

Работа с Марло шла смешно и лихо. Это было как игра. Своеобразная.

Лежа на кровати, Марло бросал с королевским жестом:

Все это пустяки в сравненье с тем,
Что время обнаружит в тихом Хемфри!..

Шекспир подхватывал:

Вот что, милорды: ваше побужденье
Убрать все тернии с дороги нашей

Похвально, но...

Марло. И что-нибудь дальше. Твои метафоры! (*Небрежный жест: мол, давай!*)

Шекспир

(*за короля*):

Наш дядя Глостер столь же неповинен
В измене нашей царственной особе,
Как голубь или безобидный агнец!
Он слишком добродетелен и кроток,
Чтоб мыслить зло, готовить гибель мне!..

Марло

Тут королева Маргарита встречается, естественно!
(*Изобразил.*)

Ах, что вредней безумного доверья?
На голубя похож он?.. Перья занял?..

Шекспир

(*тоже за нее*):

Он агнец? Шкуру он надел ягнячью?
На деле ж он по праву хищный волк,
Обманщику надеть личину трудно ль?
Супруг мой, берегитесь! Наше благо
Велит вам козни Глостера пресечь!..

– Прекрасно! – ободрял Марло и, свесившись с кровати, выдвигал из-под нее хозяйский ночной горшок. Потом слезал с кровати, шел в угол и делал стойку – помочиться. Отвернувшись, конечно, но не слишком стесняясь. Время было такое, не слишком стыдливое. А после толчком задвигал горшок под кровать, так что аккуратный хозяин, который писал за столом, наблюдал, насупясь, боясь, чтоб гость не расплескал горшок. Впрочем, он был тоже не очень смущен.

«Наверно, я не художник!» – думал он. Он ощущал себя в чужой, незнакомой стране. И если честно, завидовал тем, кто чувствовал себя в ней свободно.

Однажды после такой сцены, Кристофер вдруг спросил его:

– Ты никогда не пробовал это... с женщиной?

– Что? – спросил Уилл. Он не сразу понял и растерялся. – Нет... – сказал он в итоге.

– Брезгуешь, стал-быть, нашим братом?..

Шекспир молчал.

– Ну, дальше будем? – спросил Марло после паузы, словно и не было разговора.

– Дальше? Является вестник. Поражение во Франции!

– А-а... Ну да, ну да. А кто там вестник у нас?

Уилл

– Сомерсет!

Вы всех владений в этом крае
Лишились, государь! Погибло все!..

Марло:

– А почему у нас молчит Йорк?..

Диктует:

...На все господня воля!..

Дурная весть и для меня. Ведь я
Во Франции оставил все надежды...

(За Йорка.)

Уилл:

Так вянет мой цветок, не распустившись,
И гусеницы пожирают листья...

Марло:

Но я свои дела поправлю скоро
Иль славную могилу обрету...

(Ударил в ладоши.)

– Ха! Славно!..

Уилл не раз боялся, что работа прервется. А он нуждался

в ней сейчас более всего. Раз уж он пристал к этому странному берегу, который именуется «сочинительство».

Дальше по сюжету шел арест Хемфри, герцога Глостера – дяди короля и лорда-протектора.

– Взять герцога и крепко сторожить!

Думали, кому отдать эту фразу: Сеффолку или Кардиналу. Решили – Кардиналу.

Марло

(за герцога Хемфри):

– Вот так-то Генрих свой костыль бросает,
Когда еще он на ногах нетверд...

Уилл

(развивает мысль):

Увы, отторгнут от тебя пастух,
И волки воют, на тебя оскалясь.
Когда б напрасны были страх и боль!
Я гибели твоей страшусь, король!..

И правда, Хемфри был единственной опорой несчастного короля.

– Правильно! – сказал Марло.

Повторим: и он постепенно привязывался к новичку. Возможно, этот заносчивый, неумный, уверенный в своей гениальности и точно уж дурно воспитанный молодой человек (он был сыном башмачника, как Шекспир – перчаточника, а Кид – дьячка иль кого-то другого: эпоха пыталась стать на ноги и выбраться в люди) ощутил вдруг присутствие рядом чего-то (кого-то) другого... Может, равного. И почему-то нужного ему самому. Многие потом, вспоминая его, догадывались (к ним принадлежали и Шекспир, и, позднее, Давенант): он втайне подозревал, что век ему отмерен недолгий. И кому-кому, а ему-то во всяком случае следует торопиться. И невольное желание передать что-то... послание, даже вырастить ученика могло посещать его даже без участия его самого. И присутствие Уилла в его жизни могло быть по душе. Тот для этой роли годился. Хоть они и были ровесники, Марло все равно покуда считался старшим.

– У моего «Тамерлана» на театре – успех. Слышал, должно быть?

– Как же! Сам видел. Поздравляю!

– Благодарю! Полный успех! Не знал, куда деваться от объятий! А наш Хенслоу – знаток! – пугал меня: «Кто пойдет на Тамерлана, кто пойдет?!» Тамерлан! Это ж личность, понимаешь? Сила! Мы страдаем оттого, что рядом – сплошь недоноски. Не то что в средние века! Тамерлан – победитель! Люблю победителей!

– А я – побежденных! – сказал Шекспир.

– Ты что, не читал Макьявелля?

– Склонись перед падшими и нищими, ибо никто не знает, в ком из них Христос!

– Кто это сказал?

– Не знаю. Монах какой-то. Давно. Нас учили в школе...

Но верно!

– Мало ли чему вас там учили!.. – сказал Марло неприязненно. А потом спросил: – Ты не католик случайно?

– Нет, – ответил Шекспир как-то слишком быстро. Может, испуганно.

– А-а... Ну-ну, ну-ну!..

(Католическая религия, напомним, еще при Генрихе VIII была в Англии если и не совсем запрещена, то за распространение ее карали.)

Марло сделал непонятный жест – плечами, головой. Мол, что с тебя возьмешь?.. И вытеснился из комнаты. От него всегда было ощущение, что он занимает больше места, чем вроде должен занимать. И что ему тесно всюду.

А Уилл глядел ему вслед. Они были ровесники, но приятель больше успел к тому времени.

Что-то зашуршало в углу. Уилл оглянулся: большая крыса выползла из-под комода и глядела на него – так свободно, не отрываясь. Глаза в глаза. Он запустил в нее башмаком.

– Нет, нельзя сюда перевозить детей. Крысиный город!

Марло сказал ему уже на пороге: «И ты думаешь, тебе хватит метафор, чтобы выразить сей гнусный мир?!»

Уилл в ответ улыбнулся легко: он надеялся, что *ему* хватит!

Давенант остановился в гостинице «Лебедь», почти на самом берегу Эйвона. И дня два или три скитался по городу в поисках своего Шекспира, которого, может, он сам придумал. (Мало ли было, в конце концов, хороших авторов и хороших пьес? В древности хотя бы: Софокл, Еврипид... Сенека, у римлян.)

Но не встретил никакой настоящей памяти о нем. В ратуше Давенанту довелось узнать, что отец Шекспира был довольно долго олдерменом в городе, и даже некоторый срок – городским бейлифом. Отца помнили больше, чем сына: он был видный в городе перчаточник. Всего таких в Стратфорде числилось около двадцати, и их изделия славились в пределах Уорикширского графства. А Шекспир-старший еще и выделялся среди других собратьев по ремеслу. Он, кстати, перед смертью получил дворянство. Был ли сын у самого Шекспира или не было его – никто не знал, хотя в Лондоне Давенант что-то слышал про сына.

Про Шекспира, которого искал Давенант, только знали, что он умер то ли здесь, давно, то ли в Лондоне, что был некоторое время хозяином Нью-Плейс – одного из самых больших домов в городе и местным землевладельцем, что давал деньги в долг с процентами, как было принято, а что лечил его неизвестно от какой болезни местный врач док-

гор Холл, который лечил здесь многих и кого-то даже вылечил, а самому Шекспиру – сыну перчаточника приходился зятем. Что он, доктор, кажется, и стал душеприказчиком тестя. А его жена, старшая дочь одного Шекспира Сьюзанн, была необыкновенно умна (об этом написали на ее могиле). Но, как будто, не умела читать и писать. Как-то ее оклеветал некто из соседей, обвинив в прелюбодеянии с другим соседом. Муж вступился за нее (редкий случай!). Был суд, и клеветника отлучили от церкви. Но после родственник сего сукина сына, чуть не двоюродный брат, женился на младшей сестре Сьюзанн – Джудит... А жена Шекспира после его смерти еще долго жила вместе с дочерью. Конечно, со Сьюзанн. Младшая, Джудит, считалась в городе (и в семье) неудачницей.

Город был мал и воспоминания в нем были куцые и неспешные. А быстрое время успело многое зализать. Тем более после смуты, которая тушит все воспоминания.

Давенант посетил дом Джона Шекспира – отца, на Хенли-стрит (его впустили сегодняшние обитатели) – тот самый дом, где родился Шекспир Уильям. Правда, прямых родственников уже не было в живых, а тех, кто остался, было неловко спрашивать, кем они приходится ушедшей в небытие семье. Да они и мало что могли рассказать. Но... Давенанту дали пройтись по дому и даже заглянуть в детские спальни на втором этаже. Камышовые матрасы висели на веревках, прикрепленных к рамам кроватей. На таком и спал,

наверное, в незапамятные времена некий мальчик, которому после удалось прославиться. Матрас, должно быть, сильно проседал под ним и искривил ему позвоночник – кой искривляло потом всю жизнь многочасовое бдение за столом. Впрочем, эта мысль вряд ли могла прийти в голову м-ру Давенанту: он все ж, был человеком XVII века, а не XX хотя бы. В первом этаже дома была когда-то мастерская отца-перчаточника. Отец забивал животных не здесь – в соседней деревне, а очищал и подготавливал шкуры здесь. Их обрабатывали солью, квасцами, а после вымачивали в горшках с мочой и экскрементами. Запах, верно, был ужасающий, если и сейчас чувствуется... Он въелся в стены и шел от темно-серой штукатурки стен... Давенант ощутил этот запах своими проваленными ноздрями. «Гнойный запах шкур, запах крови и бойни – вот что породило Шекспира! – вдруг подумал Давенант, и добавил еще: – Как зрелище травли медведей, должно быть!»

В знаменитый дом Нью-Плейс, в котором умер Шекспир, Давенант почему-то постеснялся войти. Даже постучаться не решился. Зато днем довольно долго простоял у ратуши, наблюдая, как со второго этажа, из грамматической школы, сбегают, скатываются по лестнице ученики, спеша домой на перерыв. И попытался заглянуть в их лица. Он даже хотел зайти послушать урок – во второй, послеобеденной части учебного дня, но побоялся напугать детей своим носом. Который он хотя и прятал тщательно, все равно почему-то об-

наруживал себя...

Все равно: среди них нет Шекспира, и долго еще не будет!

Он был уверен в этом. Просто когда-то, открыв для себя Первое фолио 1623-го, сознал, что был в тот миг не читателем книги, а свидетелем акта Творения.

Под вечер он прогуливался по берегу, у самой кромки, у воды. Это было приятно и несколько опасно. Эйвон разливался часто, и у самого берега плескалась довольно глубокая вода: можно было не удержаться и провалиться. Осталось бы только цепляться за кусты... Ветер пригибал ветви к берегу, и в случае чего можно было схватиться за ветви. Впрочем, он был осторожен. Где-то на третий вечер своих блужданий он случайно обнаружил среди кустов на берегу некий камень с надписью. Ее было не различить. Он вернулся на следующий день в более раннюю пору и прочел: DOVN. Что это значит? «Утопленник»? «Утопленница»? Дальше было неразборчиво. Какая-то дата. Часть цифры удалось разобрать: «..79». Он не поленился и на следующий день отправился в ратушу справиться, что произошло на берегу Эйвона в каком-то 79 году? Как ни странно, ему быстро нашли. Там утонула девушка. Да-да, в 1579-м... И ее не хотели хоронить на кладбище и по христианскому обряду. Как самоубийцу. Хотя... возможно, она просто не удержалась, упала в воду. Во всяком случае, так доказывал адвокат ее семьи. Его звали, кажется, Роджер... или Роджерс. Дело тогда он выиграл. Как будто после у него помощником короткое время служил ка-

кой-то Шекспир. (Может, тот, а может, его младший брат?)

А девушку звали странно: Катарина Гамлет. 1579- й? Самому Шекспиру было тогда пятнадцать.

На четвертый день пребывания в Стратфорде Давенант решил наконец подойти к церкви Святой Троицы, где была могила его кумира, и увидел бюст, как бы выступающий из северной стены алтаря. Нет, он не ждал, что памятник на могиле будет походить на крестного – человека, которого он видел прежде и вспоминал часто по разным поводам, но, в сущности, знал мало и помнил плохо.

Но сам памятник и бюст (из голубоватого известняка) создавался тогда, когда были живы еще члены семьи Шекспира и многие, кто помнил его, и они соглашались с таким изображением!

Бюст принадлежал полноватому мужчине с отвислыми щеками и отсутствующим взглядом. Нет, глаза ему какие-то были приставлены. И в правой руке человека было гусиное перо, а из-под левой торчал лист бумаги... Вполне спокойный, добропорядочный бюргер (сказали б немцы) или буржуа (сказали б французы); его надутые щеки и самодовольный взгляд могли принадлежать кому угодно из обитателей Лондона, или Оксфорда, или Стратфорда. Вообще любому на рыночной площади – перчаточнику, колбаснику, землевладельцу средней руки. Только не...

Это было нечто вовсе чуждое не только его, Давенанта, воспоминаниям – это бы еще куда ни шло! – но тому самому

фолио 23-го года!

Нет, на мемориальной доске под бюстом было сказано все, что требовалось: «Ум, равный Нестору, гений Сократа, народ помнит, Олимп приемлет...»

Но Давенант был смятен. С этим смятением он сел в экипаж, отправлявшийся в Лондон. Экипаж был почти пустой. Дул ветер, и экипаж покачивался под ветром. И м-р Давенант, забравшийся в самый угол кареты, в такт покачивался в своем углу...

Этот образ теперь будет мешать ему в поисках *его* Шекспира.

Человек, о ком тщился напомнить этот бюст, никак не мог написать «Гамлета».

Марло стал как-то исчезать, и притом надолго. И без предупреждения. А появлялся вновь без всяких объяснений. Возможно, ему наскучила вся затея с новичком. Впрочем, в театре поговаривали в пору отлучек, что его вообще нет в городе. Где-то носит. Город был большой, но, в сущности, маленький. (Мы уже говорили.) Почти все всё знали. Если не всё, то многое. Жену Тарлтона, покойного великого артиста и любимца королевы, не так давно провозили по городу в позорной телеге – за прелюбодеяние или за содержание притона. Разве такое скроешь? Грин перестал писать – похоже, бросил Доротею и живет со шлюхой. Хозяйка квартиры из жалости подкармливает его, чтоб не сдох. А может, он

нравится ей. А ведь недавно был ГРИН! И имя как звучало! Это ль не судьба? Во всяком случае, всем известно!

Шекспир нервничал: о приятеле всегда ходили дурные слухи. Пожалуй, хуже, чем было на самом деле. Есть такие люди, которые вызывают желание судить о них. Плодят это желание. Марло к ним принадлежал. Один из актеров труппы «Слуги лорда Стрейнджа» сказал Уиллу: «Не понимаю, что вас связывает. Я б на твоём месте опасался...» По правде сказать, Уилл тоже опасался, но он нуждался в Марло. Хоть тот и был ненадежный человек – человек скачков. Однако когда он исчезал, невольно вспоминались все слухи. Человек провинциальный по природе, Шекспир боялся страстей и тайн большого роя человеческих судеб, который и звался Лондон.

Ему теперь пришлось работать самому, но работа все больше увлекала его, и он переставал бояться. Сам удивлялся себе, но удавалось.

Однажды Марло исчез так же надолго и появился внезапно:

– Отдадим должное естеству! – сказал, войдя, в высоком штиле и сперва обратился к горшку. Потом плюхнулся на кровать: – Ну, давай!.. – протянул руку за листками. Шекспир потянулся сначала отдать листки, потом почему-то стал читать сам...

Поле сражения между Таутоном и Секстоном. Входит

солдат, неся тело убитого врага.

Плох ветер, если дует он без пользы!
Быть может, кроны есть у человека,
Которого убил я в рукопашной.
А я, что обобрал его сейчас,
Могу отдать сегодня жизнь и деньги
Другому, как мне отдал этот мертвый.
Кто он? О Боже, то черты отца,
Которого убил я невзначай...
О, злые дни, когда возможно это!..

Входит другой солдат, неся другое тело.

Ты, что так храбро мне сопротивлялся,
Отдай мне золото, когда имеешь...
Его купил я сотнею ударов...
Но дай хоть посмотрю я враг ли это?..
Ах, нет, нет, нет! единственный мой сын!..
Ах, мальчик мой! Коль жизнь в тебе осталась,
Открой глаза! Смотри, смотри, как ливень
Прольется, принесенный бурей сердца!

Король Генрих

За горем горе! Выше меры скорбь!
О, смерть моя, им положи конец!
О, сжальтесь, сжальтесь, небеса, о, сжальтесь!
Я вижу на лице его две розы,

Цвета домов, что борются за власть...

СЫН

Как станет мать, узнав про смерть отца,
Меня порочить в горе безутешном!

ОТЕЦ

Как станет бедная моя жена
Рыдать по сыне в горе безутешном!..

КОРОЛЬ ГЕНРИХ

Как станет бедная моя страна
Клясть государя в горе безутешном...

– Стоп! – сказал Марло резко и сел в кровати. – Ты с кем работал это время?

– Ни с кем... – растерялся Шекспир.

– Хочешь сказать, ты все это сам придумал?

– Я же ждал тебя, но...

– У нас еще такого не было! Что ж! Бывает!.. – и прошелся по комнате. – Теперь ты можешь обойтись без меня. Да пора! У меня всякие дела в мире. И новая пьеса! Только дудки ее разрешит Тайный совет! Все-таки он слабак – твой король Генрих!.. Не люблю таких!.. И вдруг сорвался: – А это что

такое? Так и знал: проболтаешься – и у тебя тут же стянут тему... Кто позволил тебе?

Шекспир даже не сразу понял, какой книгой, взятой с его стола, Марло потрясает в воздухе.

– А что это?

– Как же! Шпис! «Народная книга о Фаусте»! Это – моя тема! Я открыл эту тему для вас, безмозглых.

– Успокойся! Я не собираюсь писать на эту тему.

– Почему? – спросил Марло даже вроде с обидой.

– Просто – не моя!

– Врёшь! Это тема для всех! Человек продает душу дьяволу, чтобы больше постичь мир!

– Это интересно. Только – не мое! – сказал Шекспир.

– Ты что, католик?

Вопрос был в лоб. Вопрос был опасен.

– Нет. Не знаю... Не решил для себя... – ответил Шекспир с осторожностью. Он в самом деле не знал, как ответить по правде, да и боялся, как все в ту пору в Англии. Может, вспомнил все предостережения насчет Марло. А с другой стороны...

Он мог прибавить, конечно, что мать его – из Арденов, а это известная католическая семья, и головы кой-кого из членов семьи висят над лондонским мостом. (Опять же Сомервил.) И что в грамматической школе его учили тайные католики... Но, естественно, промолчал.

А Марло, как было свойственно ему, быстро успокоился.

– Ты не представляешь, какая это тема! Мой Фауст достигнет высот, каких не достигал никто!.. Одной из любовниц его будет сама Елена Прекрасная. «Так вот краса, что в путь суда подвигла – и Трои башни гордые сожгла!» (продекламировал он).

– Ты ж не любишь женщин! – усмехнулся Шекспир.

– Почему? Не всех! Я их боюсь... – добавил он вдруг с неожиданной застенчивостью.

– А чего ты боишься?

– Так... не знаю. Я им не верю. Ложишься с ней и представляешь себе, как она поддавала кому-то другому. Может, и сей момент – поддает... Мысленно.

– А ты не представляй! – бросил Уилл весело.

Этот наглый молодой человек перед ним, со всезнающим видом и непрошибаемой уверенностью в себе, на самом деле страдает боязнью мира, какой страдаем мы все! Интересно! И он тоже, Уильям Шекспир, грешный провинциал из Стратфорда в графстве Уорикшир, излишней верой в себя не обладал.

– Ладно! – сказал Марло примирительно. – Ладно! Пусть! Я буду твой Мефистофель!

– Да. Но я – не Фауст, – сказал Шекспир.

Где-то поздней осенью 1592-го, когда вышла уже на сцену диалогия «Генрих VI» и стяжала успех комедия «Укрощение строптивой» (и вообще «новичок» поднимался в об-

щем мнении грязных залов в Шордиче, где попутно с театром травили медведей), Марло ввалился к нему, мрачный, как Мефистофель, и заорал чуть не с порога:

– Как тебе нравятся наши «подельнички»? Суки! Ну, как тебе нравится?

(Наверное, он употребил другое слово. Это уж слишком современное. Смысл того слова был: «люди нашей профессии», «наша лавка». Talkshop. Узко профессиональные разговоры. Но применен был термин тюремный. Марло среди прочих дел успел отбарабанить срок в тюрьме в Ньюгейте. И сам нередко, как бы нечаянно, переходил на особый язык Ньюгейта. Сокамерников, то бишь – это Шекспир знал за ним и не удивлялся.

– Что? Что случилось? – спросил он только.

– Ты слышал, что умер Грин?

– Роберт? Ну да. Конечно! И раньше говорили, что с ним совсем плохо. Отмаялся бедняга! Он был талантлив. Только... Уж очень боялся, что его забудут, и настаивал на своем первородстве в профессии.

– «Бедняга»! – передразнил Марло. – Нашелся человеколюбец!..

– А ты кто?

– А я – макиавеллист! – сказал Марло с гордостью и некоторым презрением. Чуть не выпятив грудь.

– Ладно! И так можно! – сказал Шекспир примирительно.

– Помирал, как собака, – прибавил Марло не без удоволь-

ствия. Представляешь? В объятых какой-то шлюхи, с маленьким ее бастардом на руках и весь во вшах. Нэш его видел перед смертью. Ужасное зрелище. Его прикармливала хозяйка комнаты, которую они снимали. Она по просьбе его надела на него, мертвого, лавровый венок.

– Будет! – сказал Шекспир. – Никто не знает, как придется помирать нам с тобой.

– И то верно... – но добавил столь же беспощадно: – Свою Доротею он бросил, сам знаешь, а в письме к ней просил его простить и уплатить за него десять фунтов долгу.

Шекспир приуныл. Он сам оставил в Стратфорде свою «Доротею» с тремя детьми. Правда, заботился слать им деньги.

Марло понял, верно, и осведомился:

– Ты-то не собираешься переводить своих сюда? – он вечно перескакивал в разговоре с мысли на мысль.

– Нет, – сказал Шекспир. – Да мы уже и говорили об этом.

– И правда – говорили! – согласился Марло.

– Так что он натворил, Грин?

– Оставил что-то вроде завещания. Нам с тобой. Ну тем, кто пишет для театра. Его писанину Четтл теперь издает, то есть пытается издать... Но я сказал Четтлу, что это ему дорого обойдется! «На грош ума, купленного за миллион раскаянья» и так далее – название!

Он достал из кармана листки и стал зачитывать со вкусом, но морщась. Надо сказать, он умел читать текст. А с издевкой

совсем здорово получалось!

– «Грин, хотя еще и способный держать перо, но глубже, чем когда-либо досель, шлет вам свою лебединую песнь»... Как тебе нравится? «Лебединая песнь»!

– Но ты ж не за то на него напустился?

– Не за то, разумеется! Тут еще такие перлы! «И вы все трое в помыслах низки...» – это он про меня, Нэша и Пиля! А дальше... «Ведь никого из вас, подобно мне, так не язвили нахалы эти, эти куклы, что говорят нашими словами, эти паяцы, разукрашенные в наши цвета...» Ну тут – про вашу братию, актеров...

– Ну и что? Я это и раньше слышал. От тебя в том числе!

– Я, сознайся, все-таки иначе говорил!

– Да. Немножко иначе. Но то же самое...

– Ты не католик, признайся? Ты слишком правильный! Услышь, в конце концов! – стал зачитывать: – «Не верьте им! Есть среди них выскочка-ворона, украшенная нашим оперением, кто “с сердцем тигра в шкуре лицедея”»... Узнаешь, падре?

– Да, это из нашего «Генриха VI»...

– Из твоего! В этих сценах я вовсе не брал участия. Я был тогда в Нидерландах.

И Шекспир улыбнулся: невольно впервые Марло нечаянно проговорился, где он бывает... Закрытый человек!

– Я вообще этой пьесы не числю за собой, учти! – сказал Марло даже с жесткостью некой. Мы только вместе развели

немного. Остальное ты сам.

– Спасибо!

– А про «сердце тигра в шкуре лицедея»... Узнаешь свою фразу?

– «О, женщина с сердцем тигра...» Конечно, узнаю. Даже приятно!

– Чего тебе приятно? – зачитал еще:

– «кто считает, что способен помпезно изрекать свой белый стих, как лучшие из вас, и что он чистейший мастер на все руки» – и в своем воображении – слышишь? – полагает себя единственным «потрясателем сцены» в стране...

– Ну да, про меня. Моя фамилия Шекспир – «потрясающий копьём»... «Потрясатель сцены» почти... Смешно! Бедняга! Наверное, ему очень плохо пришлось...

– Помолись за него! Поставь свечку! Про меня он написал, что я содомит! То есть пидор! За это можно угодить в Ньюгейт! А я больше не хочу в Ньюгейт! Я там бывал! И эта грязь бродит по рукам наших собратьев! Слава богу, покуда не напечатано. Я сказал Четтлу, что если что-то не выбросит про меня, в мой адрес, я его прибую. Мне все равно, за что сидеть в Ньюгейте!

Уилл хотел напомнить ему, что он сам, Марло, несдержан на язык и несет черт-те что, и о своей жизни в том числе – и в любой компании! Но промолчал. Марло все равно не стал бы от этого ни лучше, ни хуже.

Помолчали. Впрочем, недолго. Оба были задеты, хотя и

по-разному.

– И ты все равно жалеешь его?

– Должно быть. Неприятно, конечно, но... Что делать, я – сын перчаточника. Мой отец ремесленник, и я ремесленник. Мне необязательно нравится кому-то... Мне важно только, чтоб покупали перчатки.

– Странно! – вдруг сказал Марло. – Ты сын перчаточника, я – башмачника из Кентербери. А подлец Грин был сыном шорника. Странно!

Он хотел досказать еще, что пришел другой век, общество меняется и Англия меняется... Ремесленники бросились учить своих детей, чтоб они заняли в обществе достойное место. Посмотрим, что выйдет! Не досказал.

А Шекспир стал думать – ему начинают завидовать. Вроде приятно, чего-то достиг. А с другой стороны, был сам не рад: он всегда опасался зависти.

Марло озлился снова:

– Подельнички наши! Как в аду, ей-богу!

– Кстати, что у тебя с «Фаустом»? – спросил Шекспир. Может, хотел перевести разговор.

– Что – что? Не печатают, не ставят. Райт отказался печатать in-kvarto. Филд тоже боится.

– А что там такого страшного?

– Наивность вы все! Забыл, кто мы? – и зачитал наизусть, с торжественностью:

Мы те, что пали вместе с Люцифером,
На Господа восстали с Люцифером
И осужденье терпим с Люцифером!..

– Но это ж только народная сказка? Или не так?

– Это для тебя – народная сказка! А у меня Фауст спрашивает Мефистофеля: «Ты объясни, где, собственно, этот ад? И как тебя-то отпустили оттуда? Самого?» А Мефистофель ему:

О нет, *здесь* ад, и я всегда в аду!
Иль, думаешь, я, зревший лик Господень,
Вкушавший радость вечную в раю,
Тысячекратным адом не терзаем?..

– Так что, они Бога боятся? Печатники? – спросил Шекспир серьезно.

– Святая наивность! – бросил Марло покровительственно. – Бога давно никто не боится. – Только власти!

И быстро ушел. Он всегда так – сваливался, будто с небес, и так же быстро исчезал неизвестно куда.

Но Бог все же рассердился, должно быть, и в конце 92-го наслал на Англию чуму. Больше всего был поражен Лондон. Естественно – самый большой город, около шестидесяти тысяч... Теперь он таял на глазах. Люди мерли, как мухи.

На улицах пахло миазмами и какой-то вонючей жидко-

стью, которой поливали тротуары пред домами. Люди старались укрывать лица, пряча их в шарфы или шейные платки, особенно при встрече с другими. Они откровенно боялись друг друга.

Хоть это была не первая чума в Лондоне и, к сожалению, не последняя в те годы, все кинулись заново открывать причины, и, как всегда, в этих причинах было много новизны.

Считали, что чума приходит от крыс. Отдельно – только от крыс черных.

Отдельно от блох, живущих на крысах.

Кто посмелей, и в узком кругу, решался утверждать, что это – проклятие папы римского за то, что британцы при отце нынешней королевы отложились от папства и перестали быть католиками. (Не все, конечно, но перестали.)

И отдельно, конечно – проклятие папы, лежащее на самой королеве за казнь Марии Стюарт.

И отдельно так же – проклятье Испании за то же отступничество от католицизма.

И еще – будто Испания прокляла Англию за разгром в войне и гибель Великой Армады. («Там у них погибло очень много матросов, понимаете?») Почему-то эта причина в лондонской толпе считалась веской.

Не менее, чем другая: пуритане уверяли, что британцы мало молятся Богу и прогневали Всевышнего. (И более всего – развратным поведением своих женщин.)

И естественно, объясняли это приверженностью англи-

чан к греховным удовольствиям, среди которых, разумеется, чуть не на первом месте был театр.

Но каковы бы ни были причины, следствия были страшней, и сперва муниципальный совет Лондона запретил соборища и закрыл театры в зоне, подчиненной муниципалитету. А потом Тайный совет, распорядившийся во всей Англии, закрыл вообще все театры в столице и пригородах.

Актеры оказались без хлеба насущного, и труппы, одна за другой, двинулись в путь – в те края, которые еще не посетила чума.

Так Шекспир и его товарищи, в один далеко не прекрасный день в августе оказались не на сцене, где они рокошующими голосами потрясают переполненные залы пышными монологам, а на открытых телегах, на которых они, свесив ноги, зажатые ящичками с театральными костюмами и реквизитом, покачиваясь на ходу и боясь свалиться, прутся неизвестно в какую даль. Со стороны поглядеть – буквально исход театрального Лондона.

Часть труппы шла пешком. Потом те, кто ехал на телегах, и пешие менялись местами.

Не доезжая Ковентри, куда направлялась труппа, Шекспир отпросился на пару дней: труппе все равно предстояли переговоры с властями города и репетиции, а он хотел навестить дом. Он сел на попутную телегу – с него спросили немного, – и поехал в Стратфорд. Прибыл уже в начале вечера.

Как он и ожидал, встретили его плохо – хуже не бывает.

– Явился? – сказала Энн. – Что-то давненько тебя не было!

– Я работал, – сказал он угрюмо. – Зарабатывал деньги. Я завернул по дороге. Мы едем в Ковентри.

– Ты со своими клоунами?

– Я – с моими товарищами.

– И что ты привез? Чуму?

– Нет! Пять фунтов и сорок шиллингов...

– Немало. Я говорила тебе: деньги в жизни – еще не самое главное.

– Но только без них не обойтись, к сожалению. Согласись! – он все еще старался быть мягок. Ну виноват, виноват – что скажешь?

– Как дети?

– Увидишь сам! Боюсь, они позабыли тебя!

– А Гамлет? Здоров?

– Ну конечно, Сюзанн и Джудит тебя не интересуют. Только сын... Конечно!

– Почему? Я просто спросил... – он растерялся.

– Странные люди вы, мужчины. В детях вас волнуют только сыновья. Помню, как ты прыгал, когда узнал, что родилась двойня. И что не только девочка – Джудит, но и сын.

– Может, хватит, а? – попросил он.

– Почему же? Я только начала. Матушка моя говорила: «Уилл так радуется, так радуется... просто как дурачок!»

– Я и был – как дурачок! Честное слово!

– Вас же занимает только наследник. Имя! А будет ли, что наследовать или чего стоит это имя, вам все равно.

Они переругивались долго. И переругивались бы еще, если б домашний распорядок не заставил всей семьей сойтись за вечерней трапезой.

Отец сказал сразу, что ждет разговора наедине. Он хмуро кивнул в ответ на приветствие сына. Только мать была ласкова и спокойна. Она ткнулась щекой в небритую щеку сына и сказала:

– Ты похудел, по-моему! Тебе трудно?

Мать есть мать. Ладно! Хоть это....

За столом было не легче. Жена умолкла – но тут смотрели дети. И как смотрели!

Они все время отрывались от тарелки, чтоб взглянуть на него, а он был несчастлив и болел душой. Он готов был провалиться в тартарары.

– Говорят, в Лондоне чума? – спросила Сюзанн.

– Будем надеяться, что сюда не дойдет! – сказал Шекспир.

– А почему не дойдет? – спросил сын Гамлет.

– Далековато. Наш город маленький, а Лондон большой.

В больших городах чаще случается. Это болезнь большого города, – добавил он с отцовской важностью.

– А это очень страшно? – спросила дотошная Сюзанн.

– Страшно, конечно. Люди болеют, иногда умирают, – ответил ей отец. – Мойте чище руки и мотайтесь меньше по улицам!

– Ты давно у нас не был. Почему так?

– Я был занят работой.

– А ты не можешь приезжать чаще?

– А ты не можешь найти работу здесь?

– А ты не мог бы найти другую работу?

Даже Энн решила, что это уж слишком, и попыталась заступиться за него:

– Да замолчите вы ради бога! Дайте отцу поесть!

Но они унялись не сразу.

– А ты играешь на сцене в клоуна? – спросил Гамлет.

– А у тебя нет там каких-нибудь других детей? Так бывает – я слыхала! – конечно, Сьюзанн.

– Ты черноглазый! Ты у нас черноглазый! – сказала Джу-
дит, глядя на него в упор. И тем чуть разрядила обстановку.

Потом они остались с Энн вдвоем, и все началось сызнова.
Может, еще хуже...

– И ты надолго к нам? – спросила Энн.

– Нет. Я же сказал тебе – мы едем в Ковентри.

– С твоими клоунами?

– Я со своей труппой. Я актер в труппе «Слуги лорда
Стрейнджа». И говорят – неплохой актер! Меня в Лондоне
многие знают...

– И ты уже не стережешь лошадей у театра?

– Это было только начало. Начало всегда неважное.

– Почему ты не мог стать помощником перчаточника? А
потом мастером? Как твой отец...

– Я говорил тебе не раз: это была бы не моя жизнь.

– А эта – твоя?

– Не знаю. Там посмотрим. Я привез деньги.

– Я слышала!

– Но пять фунтов и сорок шиллингов...

– И столько тебе платят за твое актерство?

– Больше, чем я получал бы в помощниках у адвоката. Гораздо больше, – помолчал. – Но этот заработок мне нравится! Я еще пишу пьесы для разных представлений. Пока больше переделываю чужие. Но после буду писать только свои...

– Никогда не думала, что ты оставишь меня и детей!

– Я и не оставлял Я уехал на заработки, как многие уезжают.

– Но ты далеко от нас! И дети скучают по тебе.

– Я тоже скучаю по ним. По всем по вам!

– И по мне? Хорошо, что добавил. А то совсем тошно!

– Ложись в кровать. Я быстро докажу тебе.

– Это все прошло у тебя, я знаю. И наша бывшая жизнь прошла... Тебе вовсе не надо...

– Я ж сказал – ложись!

– Не могу так сразу. Я отвыкла. А может, не хочу снова привыкать...

После, когда они лежали обнявшись, а потом расползлись в разные стороны на широкой кровати, все началось сызнова. И с удвоенной силой. Будто и не кончалось вовсе...

– От тебя чужой запах. Будто с бойни...

– На сцене театра такой запах... Там еще травят медведей.

Оттого пахнет кровью...

– Ты этим тоже занимаешься?

– Травлей? Ну что ты! Разве я похож на травильщика зверей? Просто на сцене один день – лицедейство, а другой – травля медведей. Запах долго чувствуется.

– Ужасно.

– Немного хуже, наверное, чем пахло в мастерской отца, когда дубили кожи... Но немного.

– Почему ты не можешь взять нас с собой?

– Это не годится для вас. Если б ты видела жизнь, какую я там веду! Убогая, нескладная, неустроенная... Черви, крысы...

– Будто здесь нет крыс...

– Но тут теплый дом. Уютный. Красивый...

– Что мне в его красоте?

Долгая пауза.

Энн. Не думала никогда, что ты не вернешься. К детям, ко мне...

Уильям. Я сам не думал, это вдруг пришло в голову. Мне было лишь восемнадцать, когда мы поженились, – что я смыслил тогда? А ты была уже взрослой. Я думал, ты поможешь мне найти чудо.

Энн (*насмешливо*). И как? Не помогла?

– Мне хотелось будущего, похожего на сон!

– И правда, кому не хочется? Но дети скучают по тебе...

– Я сам скучаю по ним!

– А по мне? У тебя там кто-то есть!

– Ты с ума сошла, ей-богу!

– Ходишь по проституткам? Говорят, в Лондоне их много...

– Не бойся! Я к проституткам не хожу...

Он говорил правду или почти... С тех пор как в Лондоне началась чума, он и не видел ни одной проститутки.

Сколько-то времени спустя он стоял над кроваткой сына.

– Спи, Гамлет, спи! Я расскажу тебе о чуде. О многих чудесах! О жабе с целебным камнем в мозгу и о человеке, который стоит на луне с терновником в руках... И о древнем короле Леире, который сошел с ума и роздал все богатство детям, а потом остался нищим. Голым, в бурю – на голой земле... У меня много сказок, чтобы рассказать тебе. Может, ты когда-нибудь поймешь отца...

Но Гамлет спал, как полагалось спать мальчику восьми лет...

Уже утром, спозаранку, он навестил отца в мастерской. Отец раскладывал аккуратно заготовки для перчаток – вырезанные по лекалу и уже высохшие. Пахло здесь, как обычно...

– А-а... Мать заметила, что ты плохо выглядишь! – сказал

Джон Шекспир.

(Так было с детства. Все замечала мать, а он только прислушивался к ее словам и констатировал).

– Я, верно, устал с дороги...

– Ты не слишком хотел ехать сюда?

– Мне было трудно, признаюсь... «А как было б вам? – мог прибавить он. – Дом, в нем трое твоих детей и давно нелюбимая женщина!» – но умолчал, разумеется. Отец все понял без того.

– Да, Энн постарела! Но она и старше тебя лет на шесть.

– На восемь! – уточнил Уилл. – Но дело не в том!

– Мне легче, конечно! – улыбнулся кисло отец. – Я на целых десять старше моей жены! Я говорил тебе тогда: не женись! Слишком рано!

– Я и не хотел! Но Энн была уже беременна. И потом – я обещал!..

– Да, – согласился отец. – Обещания у нас, мужчин, дорого стоят...

Они долго так перекидывались пустыми словами. Да и не слова вовсе были – один подтекст!

– Понимаю, – сказал Джон Шекспир. – Восемнадцать! Тебе показали большие сиси и дали потрогать...

– Я вас просил когда-то не говорить так!

– А разве я говорю? – пауза. – Ты вроде привез ей много денег?

– Не слишком много. Но привез!

– Тебе хорошо платят за эту чепуху?

– Пока платят. Дальше – посмотрим!

– Жаль, ты не стал перчаточником. Я передал бы тебе дело! А то возись с учениками... И зарабатывал бы больше втрое. Все было б много проще!..

– И вместе – сложнее! Я объяснял когда-то... Я хотел лишь прожить свою собственную жизнь!

– Все вы, молодые, думаете, что проживете ее иначе, чем мы. А потом выходит – так на так... Впрочем, я был таким же... Но у Шекспиров не принято разводиться И никак не принято бросать детей!

Что он мог сказать?

– Я не бросал, как видите... Погодите, – успокоил он после паузы, – я еще добьюсь для семьи дворянства!

– Ты с твоей работенкой? Не смейся! Хотя... быть может! Мы живем в столь смутное время... Да еще чума! Может, и добьешься. Когда все стоящие людишки повымрут!.. Сказать, почему я подал тогда заявление на присвоение дворянства, когда еще был бейлифом, а после взял обратно?.. Я понял, что это ничего не значит. Ровно ничего... – помолчал. – Ты видишь кого-нибудь из наших, стратфордских в Лондоне?

– наших там много. Куинни... И Филд там. Я даже у него останавливался, когда приехал. Он держит типографию.

– Да, я знаю, что Филд в Лондоне, – и почти без перехода: – Боюсь только, ты там в итоге останешься одинок!

И в сущности на этих словах Джон Шекспир расстался с Уильямом Шекспиром.

Но приехав в Ковентри, Уильям был в растерянности, как многие в те дни люди его профессии. Он узнал, что дают помещение на два спектакля (власть хотела разрешить всего один), а дальше – пустота. Другие города не слишком рады впускать к себе актеров из зачумленного Лондона. Труппа расползается, собратья разъезжаются по домам. (Надолго ли?) Почти все они были, как Шекспир, из маленьких городков старой Англии. Неизвестно вообще, откуда берутся артисты – и откуда берется сама эта профессия в человеке. Например, знаменитого комика Тарлтона, любимца королевы Елизаветы (он умер лет пять назад), ее фаворит граф Лестер откопал где-то в сельской местности: тот был свинопасом.

Шекспир оставался не у дел. Он решил поехать в Тичфилд, к молодому графу Саутгемптону, от которого имел приглашение. *В качестве кого* – актера, поэта или секретаря графа ... или просто грамотного слуги? – оставалось неясно. «Вельможи плохо обращались со своими поэтами. Если их приглашали к обеду, то кормили отдельно от других гостей», – писал в старости Бен Джонсон. Наверное, и ему перепало... Но Шекспир умел переносить такие вещи – он был родом из стратфордских ремесленников, хотя и мечтал о чем-то большем в жизни.

Однако граф в Тичфилде принял его прекрасно – до

неожиданности. Не в помещениях для слуг, а в рабочем кабинете. Уилл влюбился в него сразу, и это чувство в нем будет длиться долго. (Пройдет в конце концов, как все проходит!) Саутгемптон был красив, изящен и женствен. Он вполне мог играть на сцене женщин. Только ростом для этого высоковат... Ему было двадцать лет – на девять лет моложе гостя. Он учился в Кембридже и в пятнадцать стал магистром искусств, Он и вправду любил искусство и понимал в нем – и желал прослыть его покровителем.

Термин «влюбился» не должен смущать наше ханжеское и вместе распущенное время. Шекспир был человеком Ренессанса и жил по законам его. Легче всего, согласно сонетам, счесть его просто гомосексуалистом. Скорей всего, это было не так, не то – о гомосексуализме Марло говорили впрямую, и коснись Шекспира – такой слух, верно б, дошел и до нас. Однако не дошел. Про его страсти к женщинам остались следы в воспоминаниях – немного, как вообще следов его личной жизни. Хотя сама по себе почва – театр, где юноши с успехом играют молодых женщин, – является зыбкой. Другое дело... Люди Ренессанса верили в дружбу как в род любви. (Хоть некоторые и видят «в аргументах подобного свойства горький привкус безнадежности».) Женщин после Данте и Петрарки почитали как идеал дальний, чаще платонический. Жены в реформистской Англии часто бывали неверны, особенно в свете и при дворе. Зато мужская дружба ценилась высоко, сопровождаясь рядом атрибутов, присущих

в более полной мере чувству гетеросексуальному: жадности в общении, нежностью друг к другу, взаправдашней ревностью. (Вспомните времена Гёте или Пушкина. Лицей. Или Кристофа и Оливье у Ромена Роллана. Это никак не похоже внутренне на поведение героев Андре Жида, но сходится в некоторых внешних качествах. Таково чувство, выраженное в «мужских сонетах» – то есть обращенных к Молодому другу. Даже свою безумную тягу к «Смуглой леди» Шекспир склонен подвергать самоосуждению. Для похоти существовали проститутки.)

Повторю: Шекспир был не только писателем, но и, по душе, героем Ренессанса. Притом позднего. (Почти на сходе его – как Сервантес.) Когда чаша индивидуалистических эмоций была уже налита почти до краев – или переливалась через край. Кто-то сказал (кажется, П. Акройд), что у Шекспира самая счастливая любовь – это у Клавдио с Гертрудой в «Гамлете». Похоже! (Но вспомним, что ей предшествовало! Клавдий даже Гамлета готов был любить. Если б тот не был слишком преданным сыном убитого им брата.)

Не стоит очерчивать чувство прошедших эпох по лекалам нашего исторического времени.

Мать графа также хорошо встретила гостя. У нее после смерти мужа осталось много долгов. И она хотела, чтоб красавец сын поскорей удачно женился. Она и сама мечтала скорей выйти снова замуж. И первое, что сделал Шекспир в Тичфилде, – сочинил сонеты, призывавшие юного герцога со-

здать семью и продолжить род.

Скажи лицу, что в зеркале твоём:
Пора ему подобное создать,
Когда себя ты не повторишь в нём,
Обманешь свет, лишишь блаженства мать.

Ты – зеркало для матери своей,
Ее апрель показываешь ты.
И сам сквозь окна старости своей
Увидишь вновь своей весны черты...

И еще – о чем-то «невозделанном лоне»: ошибке, которую требуется немедля исправить!

(«Нет, люблю я поэтов – забавный народ!» Не перестанешь удивляться им! Оставив троих детей в Стратфорде, потому что хотел какой-то своей, особенной жизни, он призывает другого срочно обзавестись потомством!)

Сонеты ему давались легко, и он писал их один за другим. Он понял, что ступил на новую стезю и что эта стезя подвластна ему, как мало какая другая. Графиня-мать обрадовалась призыву нового поэта и одарила гостя. Не щедро. Но у семьи и правда, по их понятиям, было туго с деньгами. Они продавали даже какую-то недвижимость.

Кроме того, Шекспир привез с собой поэму, которую зарабатывал уже здесь, в Тичфилде: «Венера и Адонис». Поэма о неразделенной любви Венеры к красавцу Адонису. На-

до уже наконец писать что-то серьезное, а не только пьески для «народного театра»! Поэма была не лучшее произведение его, прямо скажем (следующая, про «обесчещенную Лукрецию», была лучше), но пользовалась успехом долго, особенно у молодых людей – в университетах и юридических иннах (колледжах). А их в одном Лондоне было четыре.

Он придумал поэме посвящение, которое нравилось ему самому:

«Его милости *Генри Ризли,*
герцогу Саутгемпτονу,
барону Тичфилду...

Ваша милость!

Я сознаю, что поступаю весьма дерзновенно, посвящая мои слабые строки Вашей милости, и что свет осудит меня за избрание столь сильной опоры, когда моя ноша столь легковесна...

Покорный слуга Вашей милости...»

Во всяком случае, все так писали! Поэма герцогу пришла по сердцу. Он сразу сказал, что созовет друзей, чтоб автор прочел поэму в их присутствии.

Чтение должно было состояться на следующий день или через день, но он вдруг вызвал Шекспира в кабинет и сообщил:

– Убит Марло!

Уилл был ошарашен:

– Как? Я ж его недавно видел!

– А ты его знал?

– Да, конечно. Мы даже с ним работали вместе какое-то время...

Граф обращался к нему на «ты» – хоть был и много моложе. Шекспир к нему на «вы» и «ваша милость». Общество, сословия, Англия – XVI век. Граф вкратце рассказал все в том виде, в каком дошло до него: Марло уехал в Дептфорд – вероятно, от чумы. Городок в десяти милях от столицы. Может, в пяти... Там встретился с приятелями в таверне. Была пьяная драка... (В те дни это была не редкость!) И один из приятелей убил Марло. Кажется, был спор, кому и сколько платить в таверне.

– Но... может, это дела Уолсингема. Знаешь, кто такой лорд Уолсингем?

– Нет, – сказал на всякий случай Шекспир. Но, разумеется, знал. Это был начальник тайной полиции королевы. Глава контрразведки против католиков и католических стран.

– Ты с ним не откровенничал, надеюсь? С Марло? Поговаривают, он был тоже один из них! Вроде бы от них он ездил в Нидерланды – следить за католиками. (Граф упорно намекал «на них». И было понятно.)

Кстати, граф вскоре после знакомства, несмотря на свою близость ко двору, да и к самой королеве английской, признался Шекспиру, что сам втайне католик. Шекспир, желая понравиться хозяину, сказал, что он тоже. Хотя еще не сде-

лал окончательно выбор меж двух конфессий.

Он вспомнил таинственные отлучки Марло.

– Темная история. Он был большой авантюрист, – добавил граф. – Вообще нелегко нынче с вашим братом! Пред тем арестовывали Кида. Потом выпустили. Якобы он что-то наговорил про Марло... Под пыткой, конечно.

Он выкладывал подробности с некой лихостью человека осведомленного и гордого своей осведомленностью.

– «О нет, здесь ад, и я всегда в аду!..» – мрачно процитировал Шекспир.

– А что это? – спросил молодой граф несколько растерянно.

– Марло! «Трагическая история доктора Фауста».

– А у него была такая пьеса?

– И есть! – сказал Шекспир. – Но она пока не поставлена.

Позже, уже в Лондоне, Филд, типографщик из Стратфорда, который был решительно в курсе всего в столице, показал ему копию полицейского протокола о драке.

«...Названный Ингрэм Фризер... нанес тогда и в том месте упомянутым ранее кинжалом стоимостью 12 пенсов названному Кристоферу Марло смертельную рану над правым глазом глубиной в два дюйма и шириной в один дюйм...»

Когда Уилл читал это, названного Ингрэма Фризера уже давно выпустили из каталажки.

Давенант пытался представить себе театр Шекспира, ка-

ким он может возродиться теперь на том же месте и после всего, что претерпела Англия, и понимал, что все уже вряд ли совпадет с тем, что было.

Конечно, театр должен быть крытый – это Шекспир и его товарищи сами понимали, когда под конец стали чаще играть в здании Блэкфрайерз, на другой стороне реки.

...Широкий прямоугольник, сильно поднятый над полом и будто вызывающе вдвинутый в зрительный зал... Позади крытые помещения. Их замыкают с двух сторон два полукружья: подобье деревянного сарая с узкими ярусами по стенам, обращенными в зал. На самом заднем плане, поперек подиума, длинное толстое бревно, в которое справа воткнут огромный топор, каким в веке XV, да и в XVII рубили головы. Топор, конечно, обращен топорщиком к зрителю...

Это видение м-ра Давенанта или уже *театр*? Мы не знаем. Но если считать, что весь мир – театр...

С боков вглубь пространства сцены тянутся перила моста, уходящего от нас, над перилами – частокол из вздернутых в небо шестов, где на каждом по человеческой голове, давно высохшей и утратившей облик: игрушка, маска...

Прежде чем начать репетицию «Генриха VI», Давенант прочел обращение Гамлета к актерам. Голос его дрожал сперва, и он слышал, как дрожит, – он боялся, что слишком гундосит, и актеры, верно, смеются про себя его дикции... Но после сам почувствовал, что голос обретает силу, и он уже не думал ни о чем...

Прошу вас, произнесите эти слова, как я прочел их вам, легко и просто... если же вы будете их вопить, как это делают некоторые из актеров, то я предпочел бы, чтоб городской глашатай прочел мои стихи.

Но будьте во всем пристойны, потому что в потоке, в буре, я бы даже сказал, в самом вихре страсти вы должны соблюдать и сохранять чувство меры, которое придает ей нежность...

Но не будьте также слишком безжизненны, и пусть ваше собственное чутье будет вашим учителем. Согласуйте действие со словом и слово с действием. Особенно следите за тем, чтобы не переходить границ свободной естественности...¹

«...Нанес упомянутым ранее кинжалом стоимостью 12 пенсов названному Кристоферу Марло смертельную рану над правым глазом глубиной в два дюйма и шириной в один дюйм...»

«О нет, здесь ад, и я всегда в аду!..» Шекспир чувствовал себя опустошенным.

Вместе с тем он не мог не думать о том, что его роль «ученика», в сущности, сыграна. И начинается другой спектакль.

Конец первой части

¹ Перевод А. Радловой (с двумя вставками из переводов Б. Пастернака и М. Лозинского).

Часть вторая. Меркуцио

*... Чума на оба ваши дома!
«Ромео и Джульетта»*

Почти следом за Марло умер Томас Кид. После общения с друзьями лорда Уолсингема. То была уже «английская» трагедия – не «испанская». У Кида при обыске нашли бумаги, принадлежавшие Марло. (Они с Кристофером дружили и снимали прежде одну комнату.) Их обоих с Марло обвиняли в чем-то, что они вряд ли совершили. Кид раскололся на допросе. Винить трудно, никто не знает, каков был допрос. После этого Марло и убили в Дептфорде.

Шекспир узнал обо всем, когда уже вернулся в Лондон. Главным источником его сведений был по-прежнему круг Саутгемптона. И граф Ризли (или Рэйзли – пишут по-разному) знал все из первых рук – из дворца. Он сказал почти с уверенностью, что от Марло хотели избавиться. Как от проштрафившегося сотрудника Тайного совета или как от драматурга – до конца осталось неясным, кому и чему он служил. Может, чаяли накрутить хвост и прочей пишущей братии?

Шекспир испугался. Его игры с историей Англии вели туда же, ему казалось, – и он приуныл. Кто-кто, а он никогда не был мятежником. Он не хотел в бездну – он боялся бездны.

Минутами ему хотелось даже бросить все и вернуться в Стратфорд, сделаться перчаточником. С расстройства он начал писать в том же Тичфилде еще одну поэму: о попытке украсть любовь женщины и о женщине, оказавшейся в этом случае выше похвал. «Обесчещенная Лукреция». Сюжет валялся под ногами: «Фасты» Овидия, это он знал с детства, с грамматической школы. О Лукреции, жене полководца Коллатина, изнасилованной Секстом Тарквинием – сыном римского царька. Об ее страданиях и самоубийстве при муже. (Династию Тарквиния после того согнали с трона, и Рим надолго стал республикой. В старину случались и такие сюжеты.)

Любовь – не история! Тут вечная тема. К тому же – семейные ценности. Поэма посвящалась, конечно, тоже Саутгемптону.

Женщин Уильям не знал, в чем легко признавался себе. Да, в первую очередь себе – кому признаются в таких вещах? У Овидия его сразило, как Лукреция, нанося себе смертельный удар, еще думает о том, чтоб, упавшей, выглядеть красиво. Какой-то особый способ мышления!

Что касается самой любви... О ней он был только наслышан.

Он женился когда-то на девушке много старше себя и втайне надеялся, что она ему что-то объяснит или откроет, чего он не знал (ему было, повторим, всего восемнадцать!), об этом странном состоянии человека и, главное, о женщи-

не как главной составляющей человеческого рода. Но бедная Энн, хоть старшая, ничего не знала сама, кроме тоски по замужеству, которое задержалось в дороге, – а ей уже 26 и бежало к 27-ми... Она была рослая, грудастая девушка с правильными чертами лица и фигурой, которую можно бы отлить в бронзе... Такую захотят решительно все, кто награжден мужскими свойствами. Он оглянуться не успел, как был засватан: восемнадцать – прыщи на лице, флюиды, гормоны и вечный непокой члена.

Но она умела только мыть, стирать, стричь овец, доить коров, ощипывать кур и еще много чего, что к любви по Петрарке или Боккаччо (что тоже очень важно) не имело никакого отношения. Пришла тоска смертная – хоть вылетит в трубу вместе с дымом. Он завел трех детей и стал подыскивать работу на стороне, подальше от семьи...

Когда он вернулся из Тичфилда в Лондон, чума постепенно спадала и была надежда, что воскреснет театр. Он увлекся «чистой поэзией», как он считал («Лукреция»), но стосковался по театру. Кроме того, он признавался себе, что в обеих поэмах он был слабей Марло и его незавершенной «Геро и Леандр». А в театре у него все же что-то получалось. Нет, если признаться, лучше получалось. А тут неожиданно умер лорд Стрейндж. («Слуги лорда Стрейнджа». Вот он и умер! Актерам полагалось быть чьими-то «слугами», или они причислялись к бродягам. Так что имя было фасад труппы и вместе право на существование.)

Смерть Стрейнджа тотчас обрамилась слухами. Говорили разное, много говорили. Якобы год назад кто-то прислал лорду письмо, в котором предлагалось ему возглавить заговор против королевы Англии. Он тотчас переправил письмо властям и тем разоблачил заговор. Его благодарила сама королева, но, немного времени спустя, он был отравлен. «Клинок, стоимостью в двенадцать пенсов», поразивший в глаз Марло рукой некоего Фризера, продолжал косить противников или мнимых противников власти. Смерть Кида и Стрейнджа сталкивала Шекспира впрямую с эпохой, в какую он жил.

Он был верующий человек, и он боялся ада. Рая тоже боялся – ибо не знал его. Да и не представлял себе, что он может существовать и что даже Бог, в отличие от человека, мог произвести нечто в самом деле благостное. Что оставалось – видеть рай или ад по Данте?

Актеры теряли почву под ногами: вдова лорда откровенно дала понять, что ей вовсе не хочется возиться с трупной. В отличие от мужа, она не любила народного театра – может, всякого театра. Они снова оставались не у дел.

Слава богу, их быстро подхватил молодой граф Пембрук. За время длинной эпидемии, а после – правда, короткого – междуцарствия (лорд Стрейндж, граф Пембрук) труппа сильно поусохла в составе.

Нужно было набирать актеров. Однажды Уилл днем пришел в театр – они тогда играли в «Куртине» – и увидел разом

несколько новеньких. У двери одного из помещений, где переодеваются, стоял высокий, неотесанного вида парень. Явно моложе его. Шекспир к тому времени уже пообтерся в Лондоне, да и в Тичфилде у Саутгемптона – и мог считать себя почти джентльменом. (Ему так хотелось считать.) Перед парнем стояло широкое бревно на козлах – театральный реквизит, кем-то вытащенный со сцены, а на бревне – поднос с яблоками – зелеными не лучшего сорта. Парень брал одно за другим эти яблоки с подноса и грыз...

– Ты что, у нас новый актер? – спросил Шекспир явно без всякого интереса.

– М-гу... – сказал парень и продолжал хрустеть яблоком. – Я – сын Бербеджа, хозяина Teatruma. Ричард...

Хозяин Teatruma был входивший в силу, сравнительно молодой антрепренер.

«Гляди, у него взрослый сын! И уже актер!.. – подумал Шекспир про старшего Бербеджа. Он немного знал его. – Может, и мой Гамлет со временем...» – но ответил собеседнику одним:

– А-а... – лишь поддерживая разговор. Однако решил быть джентльменом и нехотя представился: – Шекспир Уильям.

И тоже снял яблоко с подноса и принялся грызть. Так они стояли оба и хрупали смачно. Благо, зубы молодые. Молодые волки! Хряп и хряп...

Этому парню суждено сыграть Ромео, Гамлета, Отелло,

Лира, Макбета и много кого еще и, в сущности, открыть Шекспира для театра. Стать главным его актером – может, на все времена. Но пока они стоят рядом и смачно хрупают яблоками.

Надо было срочно сочинять пьесу. Новую. Ждут голодные актеры. И он стал писать пьесу о любви. Он почерпнул историю из поэмы Артура Брука – указал ему на нее Флорио, частый гость Саутгемптона, итальянец-протестант (даже в Лондоне редкость!) – тот, что переводил на английский «Опыты» Монтеня. Он, кстати, создал и толковый словарь итальянского языка. Он был много старше не только графа, но и Шекспира. И успел порассказать ему вдосталь об Италии. Для Шекспира пока это была закрытая карта. И он легко путал Верону и Падую...

Мы не станем притворяться, что не знаем: он впервые открыл для себя любовь не в жизни и не в поэме «Лукреция», а сочиняя «Ромео и Джульетту».

Девочка, которую он так и не встретил, и мальчик, которым он хотел быть, но не стал. Молодость кончилась, и надо было – для приличия хотя бы – одарить ее вздохом. Посожалеть о ней.

Он пытался вспомнить свое отрочество, юность, но злила их серость. Он много читал тогда, в школе, их заставляли много читать – даже классиков, Сенеку... Но они никогда не беседовали о прочитанном. Это было то, что надо оттарба-

нить на уроке и забыть. Выбросить в окно. В перерывах меж уроками все толпились у окон – там двигалась интересная жизнь. Друзей у него не было – товарищи, скорей приятели. Драки... Зубрежка в школе, толки о запретном по подворотням. Пылкие занятия онанизмом. Женщины мелькали мимо, как сны, юбки их завораживали порой, но были неподъемны. И только фантазия лезла на стену и перекатывалась через стены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.